

ФИЛОСОФСКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ СУВЕРЕННОСТИ

Работа представлена кафедрой философии Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

Статья посвящена исследованию философских в целом и философско-антропологических в частности возможностей понятия суверенности человеческого бытия. Для этого автор статьи проанализировал основные этапы формирования значения суверенности от Древней Греции до политико-правовых вопросов нашего времени. Важной поддержкой являлись фундаментальные исследования К. Шмитта «Диктатура» и Ж. Батая «Суверенность». Целью автора настоящей статьи было показать человеческое бытие как суверенное и спонтанное.

Ключевые слова: *суверенность и спонтанность человеческого бытия, юридические и философско-антропологические аспекты суверенности.*

D. Dorofeyev

PHILOSOPHICAL AND JURIDICAL FOUNDATIONS OF SOVEREIGNTY

The article is devoted to the philosophical and anthropological possibilities of the conception of a person's sovereignty. The author analyses the main historical stages of forming of the sovereignty notion from Ancient Greece up to the political and legal problems of our time. The important support was rendered by the fundamental works "On Dictatorship" by C. Schmitt and "Sovereignty" by G. Bataille. The author of the article proves human being to be sovereign and spontaneous.

Key words: *sovereignty and spontaneity of human being, juridical, philosophical and anthropological aspects of sovereignty.*

Понятие суверенности является одним из ключевых в классической юриспруденции, особенно той ее части, которая посвящена развитию теории государства и права. Этому понятию посвящено огромное количество специальных исследований, подробно и детально анализирующих его смысловые оттенки, особенности формирования, способы прояв-

ления и применения. При этом понятие суверенности, в отличие от ряда других академических понятий, не обросло архивной пылью библиотек и не может пожаловаться на интерес к себе только узкого круга ученых специалистов. Напротив, оно обладает довольно высоким «рейтингом» общественного обсуждения, что подтверждается, в частности, фактом

проходящих по его поводу дискуссий в средствах массовой информации, не говоря уже о посвященных суверенности конференциях и большого числа монографий, вышедших в последнее время. Все это свидетельствует об актуальности проблемы суверенности в современном европейском, особенно российском, политическом, правовом и юридическом пространстве. Как мне кажется, это вызвано несколькими причинами. Во-первых, благодаря получившей во второй половине XX в. чрезвычайно активное развитие новой науки – политологии, показавшей свою состоятельность и продуктивность в самых разных областях социальных, государственных, межгосударственных отношений. Во-вторых, вследствие определенных геополитических процессов, произошедших в результате распада СССР, объединения Европы, появления и признания угрозы мирового терроризма, претензий США на единоличное господство в мире, наступившего мирового кризиса и др. Наконец, в-третьих, это связано с особенностями развития России на протяжении последнего десятилетия, рождению ее нового, по сравнению с эпохой девяностых годов, политического и государственного самосознания, ярким выражением которого является концепция «суверенной демократии», призванная отразить изменение статуса российского государства в глазах членов мирового сообщества, повышением его реальной политической, военной, экономической значимости и независимости в мире.

Нас, конечно, интересует прежде всего философский и философско-антропологический аспект понятия суверенности. В отличие от юриспруденции и политологии в философский язык суверенность еще не вошла полноценным понятием: если обратиться к философским словарям, включая признанный в Европе и постоянно переиздающийся с актуальными дополнениями немецкий философский словарь Генриха Шмидта [8], то вы не найдете в них статьи, посвященной суверенности. Понятию суверенности еще только предстоит полноценно войти в философскую терминологию современности, и настоящее исследование будет стремиться способствовать

этому процессу. Поэтому наша задача непростая, особенно учитывая имеющуюся философско-антропологическую направленность представляемой работы, требующая переориентации *с суверенности государства на суверенность человека*. С другой стороны, нас поддерживает в этом начинании то, что проблема *власти* (без соотнесения с которой невозможно исследование суверенности) является одной из основополагающих для современной философии. При этом мы понимаем, что в философско-антропологической перспективе нас будет интересовать не власть как анонимный историко-культурный механизм подчинения человека определенной системе нормативности, как это понималось, например, Фуко, а, так сказать, *само-властие человека*, т. е. власть как философско-антропологический феномен, власть как спонтанная способность самоопределения и самополагания. В этом мы можем опираться на французского мыслителя Жоржа Батая, который впервые обратил внимание на фундаментальное философское значение спонтанности. В своей работе под одноименным названием он противопоставил суверенность таким формам самополагания человека, как экономия, проект, польза, накопление, следование нормам, ориентацию на безопасность своего существованию – т. е. всему тому, что не позволяет человеку свободно, спонтанно и самовластно раскрывать себя [2, с. 313–359]. Понятая так суверенность осуществлялась в установке человеческой саморастраты, о чем мы уже имели возможность писать [6, с. 3–39].

Но для начала необходимо хотя бы в самом сжатом виде прояснить само исторические основания понятие *суверенитета*. Издавна оно связано с проблемой власти. Уже в Древней Греции, как, может быть, никогда позже, власть понималась в неразрывном единстве политических и философских коннотаций. Знаменитое *arche* уже начиная с гомеровских времен понимается одновременно и как *начало*, предельно *исходное основание*, *отправная точка*, и как *власть*, *главенство*, *господство*. В милетской философии архэ уже отчетливо приобретает онтологический характер, выступая тем материальным первоначалом, которое

полагает собой и в своем разворачивании мировой порядок сущего. Знание такого архэ означало знание космического порядка, и неудивительно, что первые философы часто выступали законодателями по просьбе представителей полисов. Но архэ воплощало не произвольную власть первоначала, а власть разумную, естественную, справедливую; поэтому досократики обращались к Дике как к имманентно упорядочивающей мир и природу (фюсису) власти справедливого закона. Так, например, считал Анаксимандр, у которого Дике выступало, по словам известного исследователя древнегреческой культуры В. Йегера, началом «процесса проецирования полисного бытия на мировое целое» [4, с. 205], также считал и Солон, один из основоположников древнегреческой демократии. Сначала, как известно, выделяли в качестве такого первоначала какую-нибудь одну материальную стихию, Эмпедокл был первым, кто ввел *множественность* в понимание начал власти, выделив их уже четыре, сводя огонь и воздух к «мужскому» началу, а землю и воздух — к женскому, соединяемых и разъединяемых соответственно любовью и враждой. Единовластие здесь уже сменяется многовластием, и это может знаменовать собой приход демократических принципов в античную космологию.

Но для нас здесь более важен Анаксагор, кто первым отчетливо кроме материи выделяет принципиально *иное* по отношению к ней начало, Nous, Ум, который обладает властью организовывать, упорядочивать, оформлять материю, будучи «ни с чем не смешан», представляя, так сказать, чистым умом, не связанным с материей, независимым от нее. Не являясь абсолютно трансцендентным по отношению к материи, что будет свойственно христианской модели «творец-творение», Ум предстает своего рода *имманентной трансцендентностью*, соотносясь с ней как активное начало с пассивным. Отсюда и берет свое начало тот путь *самовластия разума* как единственно определяющей силы.

У греков удивительным образом единовластие продуктивно взаимодополняло многоголосие, а не противостояло ему. Так, например,

Перикл, по сути оформивший афинскую демократию как систему государственной власти, назывался самими афинянами тираном и более тридцати лет обладал почти абсолютной властью, обладая непререкаемым авторитетом. И не случайно Фукидид говорил о времени Перикла, что «это было по имени демократией, а фактически — правлением, осуществляемым первым из граждан» [3, с. 248]. Но при этом он был не произвольным или своевольным правителем, а ярко выраженным рационалистом в использовании и применении власти, продуктивно и прагматично использующим власть исключительно ради интересов Афин. Этому способствовала и вся система проводимой им демократической реформы власти, которая переходила к народу, хотя, как мы видим, и оставлявшая возможность единовластия лучшему (так, Перикл расширил круг лиц, могущих избирать руководящие власти; ввел вознаграждение для лиц, исполняющих общественные должности; отменил вето ареопага, ограничивающего в ряде случаев суверенитет народа; установил многочисленные формы контроля народом результатов деятельности власти и т. д.). Очевидно, подобную разумность и «объективность» власти как механизма упорядочивания и организации он перенял у Анаксагора, с которым он поддерживал тесные дружественные связи, и недаром Ницше сказал как-то: «Когда Перикл появлялся перед народом, чтобы обратиться к нему с речью, он казался образом Нуса (Разума), человеческим воплощением силы конструктивной, движущей, аналитической, устрояющей, проницательной и художественной» [3, с. 244–245].

Тот, кто выступал или осознавал себя *проводником власти разума* для ее наиболее полного и чистого проявления необходимо было быть причастным тому, что у древних греков называлось *enkrateia*, т. е. способности владеть собой, иметь власть над собой, чтобы сопротивляться тому (например, страстям и желаниям), отдавшись чему человек теряет себя. Древнегреческая античность оставила нам яркий пример того, как *enkrateia* выступала путем к обретению и раскрытию подлинной активности человека как проводника *logos*'а, кото-

рый, и только он, как замечает Фуко, «должен занимать в человеке позицию суверенности» [11, с. 137]. Особенно сильно это способность проявится в дальнейшем в учении стоиков о *самодавении* (*aytarkeias*) человека как существа разумного. Впрочем, эта тема довольно хорошо известна и не хотелось бы излишне на ней останавливаться. Я лишь укажу, что подобное само-владение, самовоздержание и самоограничение, выступающие элементами практик «заботы о себе», в римском стоицизме и в целом в поздней античности было подробно исследовано Мишелем Фуко в его курсе «Герменевтика субъекта» [12, с. 212–383].

Нас здесь более будет интересовать юридическая и правовая линия формирования суверенности, которая в отношении этого понятия является основной. В дальнейшем мы часто будем использовать для этого обильный исторический материал и глубокий философский анализ понятия суверенитета, имеющийся в классическом исследовании К. Шмитта «Диктатура» [13, с. 11–228]. Собственно понятие суверенитета генетически выводится именно из *прав* единоличного и неограниченного государя, суверена (от *фр.* *souverain*, *англ.* *sovereign*, *итал.* *sovrano*), царствующего или по праву рода или по праву силы, и, в свою очередь, производно от латинского *superanus* и *supreme potestas*, означающего верховную власть. В этом смысле характерно, что в немецкий язык это слово пришло лишь в XVII в. из французского языка (*souverain*), укоренившись со значениями *unabhängig*, независимый; *unumschränkt*, неограниченный; *oberherrschaft*, верховное, высшее господство [16, s. 1657; 17, s. 859]. Уже из этого видно, что понятие суверенитета определялось преимущественно апофатически: над властью, которой является суверенной, нет другой, которая могла бы делегировать, фундировать, ограничивать, нормировать сферу и способ ее осуществления. Поэтому естественно, что вопрос о суверенитете обращает к юридическим истокам понимания проблемы абсолютной, верховной, ничем не ограниченной власти.

Такая власть в древнеримской юрисдикции понималась как *диктатура*. Сразу отметим,

что ее прямым предшественником являлась древнегреческая *тирания*, которая обычно появлялась в обстановке острого внутреннего кризиса или внешней угрозы. Именно в таких обстоятельствах полис, чувствуя свою бессилие, прибегал к помощи какого-либо авторитетного политика или полководца, легально предоставляя ему чрезвычайные полномочия (например, назначая единоличным стратегом-автократом) и позволяя установить режим личной неограниченной власти [1, с. 121–157]. Но нас больше интересует именно понимание диктатуры в древнеримской юридической практике, поскольку именно в ней она получила детальную юридическую разработку и выступила основанием для разработки концепции суверенной власти.

Первоначально диктатура выступала как легальный институт древнеримской республики, а диктатор понимался как должность чрезвычайного магистрата, вводимая в особо опасное для государства время и наделяющего его практически неограниченной, т. е. не связанной рамками значимых в остальное время правовых законов [это различие понималось в терминах «особое право» (*jus speciale*) и «общее право» (*jus generale*)], верховной властью (*impegium*) для эффективного и быстрого разрешения проблемной ситуации, под которой прежде всего рассматривались внешняя война, восстания, смуты и бунты внутри страны. Диктатора назначали сперва на шесть месяцев, но если порученное ему дело выполнялось ранее, он добровольно слагал с себя свои полномочия. Таким образом, диктатор не являлся тираном в привычном нам смысле, а сама диктатура не выступала в Риме эпохи ранней республики формой абсолютного господства, представляя юридически правомочно полагаемым республикой способом защиты государства.

Римский диктатор не является сувереном, так как он имеет лишь комиссионное поручение от республики, представляя «комиссаром действия». В современное учение о государстве понятие «комиссара» ввел в XVI в. Жан Боден, который тем самым сделал очень много и для обоснования понятия суверенитета, показав его связь с понятием диктатуры. Диктатор име-

ет только комиссионное поручение (само понятие «комиссар» происходит от *Commission*, т. е. поручение), ему легитимно передается высшая власть (*summam imperium*) на ограниченное время для решения определенных задач, т. е. он исполнитель, обладающей Диктатор не суверенен потому, что абсолютная власть ему *дается, перепоручается, делегируется* со стороны того, кто действительно обладает суверенитетом — в отношении римской республики это народ, представленный через народных трибунов в сенате; в отношении монархии это был бы царь. «С внешней стороны полномочия комиссара могут быть сколь угодно широки, но он всегда остается непосредственным орудием чьей-то чужой воли» [13, с. 55]. И хотя уже древние римляне — например, Тит Ливий и Цицерон — отмечали, что чин диктатора очень схож с царской властью, но все же и еще длительное время казалось очевидным, что комиссар не может быть суверенным. Главные отличия комиссара от суверена заключались в том, что его власть не постоянна, а временна; что она лишена «величия» (*majestatem*); что она дается, делегируется комиссару для достижения конкретной цели (например, подавление восстания, искоренения смуты), по достижению которой она отбирается. Возможно, здесь сыграла свою роль юридическая выучка, рассматривающая положение вещей исключительно *de jure* и не учитывающая реальность *de facto*, в соответствии с которым диктатор действительно может рассматриваться как «суверенный государь».

В самом деле, закат эпохи римской республики обозначил изменение роли и статуса диктатора. Так, в 82 г. до н. э. на основании особого закона Сулла был провозглашен диктатором на неопределенное время, а в 46 г. до н. э. Цезарь стал диктатором сперва сроком на один год, а затем был утвержден пожизненно как «постоянный диктатор» (*perpetual dictator*) (впрочем, подчеркнем, что *формально* как при Сулле, так и при Цезаре право вето трибунов продолжало существовать, а это значит, что опять-таки формально их власть не могла пониматься как неограниченная). Такая неопределенность вызвала в свое время активные спо-

ры о реальном и юридическом соотношении диктаторской и суверенной власти. А именно не является ли диктатура разновидностью суверенитета или это все-таки разные формы власти. Диктатуру Суллы и Цезаря роднит с предшествующей, пожалуй, только имя, реально это уже именно суверенная власть. В конце концов, дело не в имени, а в «полноте власти» (*plenitudo potestatis*), точнее в реальном обладании ею и возможности использовать по своему усмотрению без каких-либо ограничений. Боден не делает различия между суверенитетом государства и суверенитетом носителя государственной власти: обладание абсолютной властью делает обладающего его суверенным, а именно кто ею обладает определяется в каждом конкретном случае правовым способом. Отсюда его классическое определение суверенитета: в восьмой главе первой из своих «Шести книг о республике» он пишет, что «суверенитет есть абсолютная и постоянная республиканская власть, которую латиняне именуют «величием» (*majestatem*)» [13, с. 44]. Фактически Боден знает только «комиссарскую диктатуру», которая отождествляется у него с суверенной властью.

Для преодоления этой содержательно-терминологической путаницы Карл Шмитт вводит принципиальное понятийное разграничение между «*суверенной диктатурой*», т. е. обладающей всей «полнотой власти» (*plenitudo potestatis*) на неограниченный срок и обладающей по закону правом назначать себе преемника, и «*комиссарской диктатурой*», т. е. полностью полагаемой в определенных рамках законодательной властью, которой она юридически фундируется и которая, следовательно, являлась единственно легальной носительницей суверенитета, относясь к диктатору как к чрезвычайному исполнительному средству достижения своих целей. Несколько упрощая, можно сказать, что в суверенной диктатуре диктуется суверенность конкретной самовластной личности, тогда как комиссарская диктатура полагается диктатом иным, чем она сама, носителем суверенитета, только передающей ей на определенных условиях свои права и, таким образом, диктующей от ее имени.

Но в XVII в. и Гуго Гроций не видит принципиального различия между суверенитетом и диктатурой. Видимо, чтобы как-то разрешить эту имеющуюся юридическую коллизию с формально-юридической точки зрения, он, признавая, что изначально суверенитет принадлежит народу, говорит, что этот суверенитет может быть *отчужден и передан*, т. е. народ добровольно отказывается от своей «высшей власти» (*summum imperium*) в пользу государя, призванного неограниченно властвовать над ним, на определенный срок, в течение которого он не может быть отозван. Собственно, именно по такой модели, видимо, осуществлялось легендарное самоотречение от своей свободы в нашей отечественной истории — призвание русским народом князя Владимира, должного управлять ими с такой эффективностью, с какой сами они не могут управлять собой. В Англии кальвинисты, индепендисты и иезуиты стояли на такой же позиции, считая, что подлинным сувереном является народ, который, делегируя свою власть монарху, добровольно отказывается от своего суверенитета и превращается в подданного. В «Левиафане» Гоббс называет диктатора «временным монархом», по сути — «служителем» (*minister*) властвующей демократии или аристократии. Это пример того, как человек, *получающий* абсолютно неограниченную власть, уже никоим образом не зависит *от давшего* ему эту власть. Возможно же это в трех случаях: или когда народ действительно добровольно принимает суверенное господство над ним; или когда полученная в качестве поручения диктатура выходит за эти положенные рамки и подчиняет себе со временем то, чем она первоначально полагалась — так было в случае с Цезарем, так часто бывает и в наше время с так называемыми «военными диктатурами»; или когда человек, уже реально *post factum* обладающий неограниченной властью, получает ее официальную легализацию — так было, например, когда английский парламент подтвердил протекторат и суверенность Кромвеля, хотя тот фактически в нем уже и не нуждался, имея право и силу в любое время распустить парламент.

Не будем забывать, что слово *dictator* образовалось из *dicere*, *dicere* со значением «отдавать приказы», «диктовать» эдикты (к слову сказать, одно время под диктатором понимался определенный канцелярский чин, занимающийся составлением, «диктатом» писем — отсюда и такие родственные ему слова, как диктант и диктор). Диктатор здесь это тот, кто единолично диктует распоряжения; у Катона это слово являлось обозначением для высших руководителей вообще и оно означало, что у диктатора не было помощников и коллег — в этом оно близко греческому «автократору» [13, с. 22]. В этом смысле средневековое понимание, опираясь на традиции древнегреческой философии, исходит из того, что философ (а шире — любой разумный человек) или государь могут быть только *представителям* (*т. е. комиссарами*) суверенной диктатуры, которым диктует носитель подлинной суверенности, соответственно разум и Бог. Ведь в Античности, например у Платона, несомненным было то, что всякому разумному человеку диктует разум, которому и принадлежит верховная суверенная власть, отдающая приказы внимающему ей человеку, который, следовательно, выступает здесь ее проводником и исполнителем. В христианстве же единственным сувереном, имеющим действительную и всеобъемлющую власть, являлся Бог, восприятие воли которого являлось основной онтологической установкой человек (об этой религиозной рецептивности мы, впрочем, уже говорили во второй главе предшествующей части; при этом нельзя забывать, что христианская религиозность, особенно восточного типа, во многом делает сердце тем началом, в котором и через которое происходит общение с Богом и восприятие его наказов; уже без религиозной направленности сердце будет выступать диктующим началом у Монтескье и Руссо).

Практика оправдания и обоснования своей власти ссылкой на «трансцендентные гарантии» носителя подлинного суверенитета характерна не только для средневековья. Так, например, Кромвель, обретя всю полноту суверенной власти, для подтверждения и в каком-то смысле оправдания своей власти ссы-

лался на Бога — ведь больше ему не на кого было сослаться по причине воплощенного в нем самом абсолютного всевластия, — волю которого он послушно выполняет и поэтому не может отказаться от своей неограниченной власти (это довольно известный и часто применяемый ход, когда собственное притязания и права на власть так или иначе выводятся из *юридически неподотчетных* «высших оснований» — будь то откровение Бога или интересы народа). Видимо, это связано с тем, что длительное время, вплоть до Ницше, человек, даже реально обладающий всей полнотой ничем не сдерживаемой власти, чувствовал теоретическую необходимость оправдать ее ссылкой на бесспорный трансцендентный авторитет, что позволяло ему выступать не воплощением суверенной власти, а лишь ее носителем, хранителем, проводником (любопытно, что в немецком *führer* имеется амбивалентность, активно используемая в свое время Гитлером: с одной стороны, *фюрер* — это тот, *кто* ведет народ, а с другой стороны — этот тот, *через кого* народ ведется).

Такая двойственность заметна уже у Макиавелли. С одной стороны, в своем произведении «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» он рассматривает диктатора как конституционную форму и орган республиканского правления, обладающего правом «принимать решения самолично» (*deliberare per se stessto*) [13, с. 24] во всех сферах, но при этом не могущего менять существующие законы, вводить новые законы, отменять конституцию и предлагать новую организацию власти. Здесь, как мы видим, диктатор не обладает суверенной властью. С другой стороны, в «Государе» сам государь уже не диктатор, а абсолютный суверен, определяясь только одной целью — сначала овладением, а потом удержанием абсолютной власти, и для достижения этого результата для него хороши все средства. Здесь Макиавелли уже не занимается обоснованием или тем более оправданием абсолютной власти — он озабочен лишь ее *рациональной техникой*, механизмом ее максимально эффективного (прежде всего для самой власти, т. е. государя) функционирования; перед нами, таким обра-

зом, ничем не ретушированный *прагматизм* суверенной власти. Если в традиционном смысле диктатор понимался как носитель неограниченной власти в экстраординарных условиях (войны, восстания, смуты), при которых именно такая власть была наиболее эффективной, то Макиавелли, руководствуясь именно критерием *эффективности власти*, переносит ее и в обычное, ординарное течение жизни государства, наделяя тем самым государя суверенитетом. В самом деле, если власть диктатора максимально эффективна, то почему ограничивать эту эффективность рамками чрезвычайных событий, а не сделать ее способом *постоянного* способа существования государства?

Действительно, политика (как и медицина) не может быть императивной, исходя, как это делает мораль, из того, что *должно быть* — она исходит из того, что *есть* и из своих интересов (завоевания и укрепления власти) в том, что есть, утверждая на основе этого себя и свои правила (хотя проблема нравственности власти, ее божественности и святости сопровождала всю историю христианства — вспомним, что Константин, первый христианский император, также как и римские языческие императоры, называл себя «божественным», и я уже не говорю, насколько актуальной была это проблематика в Древней Руси и как активно она обсуждалась в России). В этом смысле суверенная власть постепенно освобождается от своей фундированности трансцендентными, как бы они не понимались, гарантиями, она начинает определяться рационализмом, техницизмом и приоритетом исполнительной власти. Если в античности или средневековье суверенная власть была персонализированной, то в Новое время возникает государство как субъект суверенной власти. В соответствии с этим в XVII в. появляется и само понятие «государственного интереса», преодолевающего традиционную противоположность права и бесправия и озабоченного только максимально эффективным и продуктивным *использованием власти*. Происходит, так сказать, *деперсонализация суверенной власти*, когда на первое место выходит укрепление не власти госу-

даря, а самого государства, которое поэтому становится самостоятельным действующим субъектом, развивающим с тех пор свою имманентную технику или искусство управления, направленное на *самоутверждение*. В связи с этим вопрос о суверенитете начинает все больше рассматриваться не в применении к отдельному человеку, а ко всему государству и его народу.

Раньше всего эта тенденция начинает осуществляться в Англии, где в XVII в. субъектом суверенитета является троичный союз взятых вместе короля, палаты лордов и палаты общин, что выразилось в формуле «король в парламенте» (King in parliament). В «Левиафане» Гоббс открыто признает, что законы создаются не истиной, а авторитетом государственной силы, т. е. само государство, поглощающее и упорядочивающее собой все единичное, являет собой «диктатуру закона», а суверен занимается его исполнением, прагматически и авторитарно руководствуясь принципом «государственного интереса». На развитие этих положений направлены и философия Гоббса. У него суверенная диктатура государства является единственным способом, позволяющим избежать всеобщего раздора и хаоса, вызванного войной всех против всех (*bellum omnium contra omnes*) и жестко, но легитимно отстаивающего свои государственные интересы [13, с. 41]. Однако если Гоббс еще стоит на позиции, что народ передает, полностью делегирует свои суверенные полномочия государю, то уже Локк жестко защищает суверенные права народа от посягательств на них отдельной личности, по крайней мере, именно народ обладает безусловным правом противодействия любой личной власти. Но суверенность народа не как репрезентированной части в его сословной организации, а как представленной и воплощенной в *каждом человеке* будет рассматриваться только начиная с Руссо, который радикализирует понятие «заказа народа», благодаря которому правительство будет пониматься как «комиссар народа». Именно Руссо поставил проблему соотношения свободы конкретной единичной личности и власти всего народа как коллективного носителя суверенитета;

более того, может быть, Руссо был первым, кто начал говорить о суверенности отдельного человека, который повинуетя только самому себе и не растворяет себя в целом. В «Общественном договоре» Руссо пишет: «Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всю общую силу личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде. ... *Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей волей свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого*» [7, с. 160–161].

Таким образом, результатом «договорных отношений» отдельных людей друг с другом является «общая воля» (*volonte generale*), которой каждый человек отдает себя всецело на равных со всеми условиях под ее суверенное управление, за что принимается в общину как *неделимый член* целого. Собственно, и в этом кардинальное отличие Руссо от предшественников, договор заключается не между людьми и «властью», т. е. правителем — сами люди выступают в качестве двух договаривающихся сторон: как члены суверена и как частные лица. Общая воля является в этой конструкции единственным носителем суверенитета и не может быть персонализирована, в отличие от исполнительной власти, назначаемой ею в качестве «комиссара». Именно потому, что каждый человек в качестве того части Целого, которое Руссо именует Республикой или Политическим организмом, является носителем суверенитета, этот последний предстает неотчуждаемым и неделимым как раз потому, что суверенитет есть «только осуществление общей воли», а суверен есть «не что иное, как коллективное существо» [7, с. 168].

Здесь предполагается, что общая воля отстаивает интересы всего целого, или, иначе говоря, государственные интересы, которые являются для нее основополагающими (однако при определенных условиях может произойти раздвоение и интересы целого могут выступать против конкретной личности).

А отсюда уже недалеко и до крайностей диктатуры такой «воли народа», как она и осуществлялась Национальным Конвентом во время Великой французской революции или осуществляемой партией большевиков «диктатурой пролетариата» во время октябрьской революции, т. е. диктатуры, осуществляемой от имени народа его представителями — ведь только в утопиях «земного рая» можно представить состояние, в котором интересы целого и отдельной личности, одной личности и другой полностью бы совпадали и не ущемляли бы друг друга.

Так вот, при понимании субъектом суверенитета коллективного целого, народа, естественно, возникает необходимость в появлении особых институтов управления, занимающихся проведением государственных интересов — так рождается, например, политическая экономика и «полиция», а в немецких университетах XVII и XVIII вв. преподают даже специальный курс *Polizeiwissenschaft*, значение которого подчеркивает Фуко [10, с. 183–212, с. 304–317]. Получается, что отстаивать общественные интересы целого, имея в них свою цель, государственный суверенитет может только через жесткое полагание и утверждения своих законов, достигая безоговорочного и тотального подчинения им. Оказывается, что народ, каждый человек в отдельности как его часть, оказавшись носителями суверенитета, могут осуществлять его исключительно через *подчинение* — подчинение анонимной и всепроникающей разветвленной системе механизмов власти, следующей своему порядку. Мишель Фуко, понимающий власть как безличную и анонимную всепроникающую «сеть», раскрывает этот замкнутый круг: «цель суверенитета замкнута на самой себе: она отсылает к самому осуществлению суверенитета; благо есть подчинение закону, следовательно, благо, к которому стремится суверенитет, состоит в подчинении людей этому суверенитету. ...То, что, по существу, позволяло суверенитету достичь его цели, т. е. вызвать подчинение закону, есть сам закон; таким образом, закон и суверенитет слились воедино» [10, с. 195–196]. Исполнительная власть, являя собой властный

механизм осуществления суверенитета, незаметно заменяет *законность* этих механизмов *эффективностью* их исполнения. И если раньше можно было указать на конкретное лицо, носителя и исполнителя такой власти, то теперь власть становится безличной и ускользает от схватывания, представляя собой неуловимую, тончайшую, осуществляемую на самых приближенных к человеку повседневных уровнях паутину управления.

Поэтому Фуко и предлагает отказаться от юридической теории суверенитета, рассматривающей *человека как субъекта* естественных прав и первоначальной власти, и перейти к анализу власти исходя из самих *силовых отношений*. Еще Гоббс учил, что законы создаются не истиной, а авторитетом, обладающим наивысшей властью отдавать соответствующие приказы и распоряжения (см. Левиафан, гл. 26; О гражданине 6, 9). Когда субъектом суверенной власти перестал быть отдельный человек, диктатор или монарх, и им становится коллективное целое, народ, это начало пути по рассредоточению, децентрализации, плюрализации проявлений власти как анонимной силы. Если раньше суверенитет и верховная власть были четко конкретизированы и воплощены в конкретном суверене, а юридические и философские теории являлись формой легализации такой суверенной власти, то, начиная со второй половины XVIII в., власть фундируется уже не носителем суверенитета — она становится безыменной, безличной, осуществляясь в разветвленной ветви дисциплинирующих и контролирующих повседневную жизнь людей механизмов. Такую власть, считает Фуко, невозможно уже контролировать, невозможно описать и обосновать традиционной теорией суверенитета: *демократизация и деперсонализация суверенитета* означало утверждение коллективного суверенного права, которое обрело свое формальное юридическое и законодательное выражение, но его проведение и осуществление требовало появления особой системы дисциплинарных механизмов, которые со временем подчинили себе тех, кто их утверждал, переняли на себя функции активного самополагания, стали самостоятельны-

ми, никому не подотчетными и по сути неуловимыми. «Суверенное право и дисциплинарные механизмы — именно в этих двух областях, я думаю, функционирует власть. Но они столь гетерогенны, что никоим образом невозможно совместить их друг с другом. ...Фактически формы дисциплины имеют свой собственный дискурс. ...Дискурс дисциплины чужд дискурсу закона; он чужд дискурсу порядка как результата суверенной воли. Формы дисциплины выступают, таким образом, носителями дискурса порядка, но не юридического порядка, исходящего из суверенитета, а дискурса естественного порядка, то есть нормы. Они определяют не кодекс закона, а кодекс нормализации...» [9, с. 56–57].

Хотелось бы указать еще на одну проблему, связанную с пониманием суверенитета в современном мире. Если для усмотрения незаметных механизмов дисциплинирующей власти в повседневной жизни необходима особая *микрлооптика*, то в сфере международных отношений, несмотря на дипломатические изыски, действительную власть можно сразу обнаружить по критерию реальной силы. В этом смысле заслуживает особого внимания вопрос о соотношении суверенитета и войны. Война традиционно, еще с времен римской республики, является одним из самых обоснованных поводов введения диктатуры как верховной, преимущественно единоличной власти. Собственно, именно во время войны с диктатором «законов военного времени» в полной мере и с наибольшей чистотой проявляется суверенитет, суверенная власть, которая в мирное время может так или иначе затушевываться и опосредоваться, хотя бы для виду, юридическими и правовыми нормами — ведь тут дело идет уже не о формальных играх закона, а о судьбе самого государства. Те притязания на суверенную власть, с которыми в обычное время можно было бы поспорить, в военное, экстраординарное время являются жизненно необходимыми, с которыми соглашаются даже несмотря на юридические противоречия. Цель войны — отстоять или подтвердить, а также проявить, обозначить суверенитет, свою независимость и победить любой ценой своего про-

тивника. Поэтому можно согласиться с Нанси, говорящего в своем выступлении 1991 г. «Суверенные цели», навеянном первой войной США и их союзников в Персидском заливе, о взаимосоотнесенности цели и суверенности. Суверенность направлена на свое наиболее полное самопроявление и самополагание, которое может осуществиться только в войне, так как подлинный суверенитет раскрывается именно в чрезмерности и как чрезмерность власти/силы, что и происходит реально во время войны. Недаром одним из ключевых критериев суверенности и прав суверена издавна считалось право объявления войны — ведь война есть «монумент, праздник, темный и чистый знак сообщества в его суверенитете» [5, с. 186]. В этом смысле *реальная* (а не официально стилизованная и выхолощенная, прилизанная) суверенность всегда агрессивна и трансгрессивна, т. е. стремится утвердить, подтвердить и осуществить себя за своими пределами, на чужой территории, что и показывает пример военных вторжений США, претендующих на статус единственного суверенного государства, или сверхдержавы, в современном мире. Недаром во времена внутренних политических кризисов так часто политики обращаются к «небольшой победной войне» — ведь в ней для народа (потенциальных избирателей) обозначается сила собственного государственного суверенитета. Более того, как показывает в своем последнем большом произведении Карл Шмитт «Номос земли», сама война рассматривается как государственные отношения между одинаково суверенными персонами. Ведь уже с середины XVII в. аналогией государства с человеческой личностью определяется международное правовое мышление. И как каждая человеческая личность от рождения является суверенной, на чем будет настаивать Руссо, так и каждое государство в своем естественном состоянии является суверенным в равной степени, а поэтому обладает правом на войну [14, с. 171–178]. Соответственно, как и в отношениях между отдельными людьми, в войне побеждает тот, чей суверенитет обладает реально большей силой.

Думается, что современный процесс глобализации ведет к монологизации общества, культуры, права, унификации государств, так что суверенность предстает уже не правом и основой каждого отдельного государства (хотя проблемы неумных претензий власти одной сверхдержавы по прежнему актуальны), а лишь мощных транснациональных союзов, в своем развертывании стремящихся всеми возможными путями преодолеть любые инаковости по отношению к себе и растворить множественные суверенности, в пределе, в одной всеохватывающей структуре. Возможно, такое положение связано с тем, что суверенная власть — неважно, будь то власть одного человека или государства в целом — не научилась еще себя *самоограничивать*, ведь соблазн абсолютной власти является одним из наиболее сильных и труднопреодолимых, и здесь немного изменилось за последние тысячи лет. Поэтому особенно актуальной кажется проблема *конечной суверенности*, т. е. суверенности, радикально самополагающей и самоутверждающей себя, а с другой

стороны, признающей свою конечность в открытости множественному иному; возможно, именно в этой перспективе нужно рассматривать все чаще раздающиеся призывы к плюрализму и множественной полифоничности в мире, в котором должен быть не один всеполагающий и определяющий центр (политический, экономический, военный, религиозный, культурный), а несколько. Однако, как этого *реально* добиться, пока неизвестно. В этом смысле нужно со всей серьезностью отнестись к возможным перспективам полной унификации, которая затронет все системы цивилизации, вплоть до создания единственного тотального государства; тенденции к этому налицо, и о их неотвратимости пишет, например, петербургский философ Я. А. Слинин [15, с. 15–77]. Вопрос о неотвратимости этого движения пусть решит для себя каждый сам — я же стремлюсь отстаивать здесь ценность человеческой суверенности как такой формы самополагания, которая принципиально открыта полифоничной множественности окружающего мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Античная Греция. М.: Наука, 1983. Т. 2. 382 с.
2. *Батай Ж.* Проклятая часть. М.: Ладомир, 2007. 742 с.
3. *Боннар А.* Греческая цивилизация. М.: Искусство, 1992. Т. 1. 269 с.
4. *Йегер В.* Пайдейя. Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина. М., 2001. Т. 1. 594 с.
5. *Нанси Ж.-Л.* Бытие единственное множественное. Минск: Логвинов, 2006. 271 с.
6. Предельный Батай: сб. статей / отв. редактор Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2006. 296 с.
7. *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М.: Наука, 1969. 702 с.
8. Философский словарь: основан Г. Шмидтом. 22-е изд., перераб. / под ред. Г. Шишкоффа. М.: Республика, 2003. 575 с.
9. *Фуко М.* Нужно защищать общество. СПб.: Наука, 2005. 309 с.
10. *Фуко М.* Интеллигенция и власть. Ч. 2. М.: Праксис, 2005. 319 с.
11. *Фуко М.* История сексуальности. Использование удовольствий. СПб., 2004. 346 с.
12. *Фуко М.* Герменевтика субъекта. СПб.: Наука, 2007. 677 с.
13. *Шмитт К.* Диктатура. СПб.: Наука, 2005. 327 с.
14. *Шмитт К.* Номос земли. СПб.: Владимир Даль, 2008. 670 с.
15. Я. (А. Слинин) и Мы: к 70-летию профессора Ярослава Анатольевича Слинина. СПб.: Санкт-петербургское философское общество, 2002. 647 с.
16. Etymologisches Wortebuch des Deutschen. Berlin: Akademie-Verlag, 1989. 1857 s.
17. Kluge. Etymologisches Wotterbuch der deutschen Sprache. Berlin; New York, 2002. 959 s.

REFERENCES

1. Antichnaya Gretsiya. M.: Nauka, 1983. T. 2. 382 s.
2. *Batay Zh.* Proklyataya chast'. M.: Lodomir, 2007. 742 s.
3. *Bonnar A.* Grecheskaya tsivilizatsiya. M.: Iskusstvo, 1992. T. 1. 269 s.
4. *Yeger V.* Paydey'ya. Greko-latinskiy kabinet Yu. A. Shichalina. M., 2001. T. 1. 594 s.
5. *Nansi Zh.-L.* Bytiye yedinstvennoye mnozhestvennoye. Minsk: Logvinov, 2006. 271 s.
6. Predel'ny Batay: sb. statey / otv. redaktor D. Yu. Dorofeyev. SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 2006. 296 s.
7. *Russo Zh.-Zh.* Traktaty. M.: Nauka, 1969. 702 s.
8. Filosofskiy slovar': osnovan G. Shmidtom. 22-e izd., pererab. / pod red. G. Shishkoffa. M.: Respublika, 2003. 575 s.
9. *Fuko M.* Nuzhno zashchishchat' obshchestvo. SPb.: Nauka, 2005. 309 s.
10. *Fuko M.* Intelligentsiya i vlast'. Ch. 2. M.: Praxis, 2005. 319 s.
11. *Fuko M.* Istoriya seksual'nosti. Ispol'zovaniye udovol'stviy. SPb., 2004. 346 s.
12. *Fuko M.* Germenevtika sub'yekta. SPb.: Nauka, 2007. 677 s.
13. *Shmitt K.* Diktatura. SPb.: Nauka, 2005. 327 s.
14. *Shmitt K.* Nomos zemli. SPb.: Vladimir Dal', 2008. 670 s.
15. Ya. (A. Slinin) i My: k 70-letiyu professora Yaroslava Anatol'yevicha Slinina. SPb.: Sankt-peterburgskoye filosofskoye obshchestvo, 2002. 647 s.
16. Etymologisches Wortebuch des Deutschen. Berlin: Akademie-Verlag, 1989. 1857 s.
17. Kluge. Etymologisches Wotterbuch der deutschen Sprache. Berlin; New York, 2002. 959 s.